

*Ромэну Роллану,
человеку,
поэту*

I

Года через два после воли, за обедней в день Преображения Господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», — ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дрёмове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что, когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дрёмова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

— Уповательно — из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов,

человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:

— Видали, — лапы-те у него какovy длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дрёмовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дрёмове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

— Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

— Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело — не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа — в четвертом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то поступал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам — четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить — фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но — усыновлен им, Ильей.

— Лен мужики наши мало сеют, — раздумчиво заметил Баймаков.

— Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей — кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

— В солдаты одного? — спросил Баймаков.

— Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

— Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом, один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

— Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками:

— Что ты, Бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, а ты — эго! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь — как она... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого — не услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, все знаю, четыре раза неприметно был, все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел — не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

— Ты погоди...

— Недолго — могу, а долго годить — года не годятся, — строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор: — Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

— Господи — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?
— Неизвестно. А где Наталья?
— За сахаром пошла в кладовку.
— За сахаром, — сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. — Сахар. Нет, это правду говорят: от воли — большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:
— Ты — что? Опять неможется?
— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить меня на земле.

Жена начала утешать его:

— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

— То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай — подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

— Вот — с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте — отдохну.

— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна, — приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

— Иди, Ульяна; уповательно — это судьба, — тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных красивых ресниц:

— Что ж, Митрич, видно, и впрямь — судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

— Во имя Отца и Сына... Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

— Помни, — на тебе ответ Богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

— Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

— Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:

— Будь покоен, все пойдет как надо. Я — тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не Бог, человек — не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно:

— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела, — ну — воля Божья!

Ульяна жалобно крикнула:

— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому:

— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завывала:

— Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!

Муж остановил ее:

— Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

— Ты — держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:

— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

— Да-а, темное дело.

— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветренный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намащенные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило, — посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило,

с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от нее, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен, — дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дрёмова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тыпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья:

— Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И — пожар может быть: плотники курят табак, а везде — стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

— На песце строят.

— Нагонят фабричных — пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

— Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

— Огород затевает, — догадались горожане. — Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

— Глядите, глядите, — стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы-часовщика, крикнула жалобно:

— Ой, ой — утонет!

Ей дали подзатыльник.

— Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

— Ишь ты, звереныш...

— Не любят нас, — заметил Петр; отец на ходу взглянул в лицо ему:

— Дай срок — полюбят.

И обругал Никиту:

— Ты, чучело! Гляди под ноги, не смехи народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

— Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять

лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил епитимью за убийство — сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения Отцов Церкви, но отец часто перебивал его:

— Высока премудрость эта, не достигнуть ее нашему разуму. Мы — люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник-князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в Бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело. И — что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

— Вам жить — трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а — как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?

— Слышу.

— То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да — толку мало.

Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь кует звено за звеном цепи слов. В большой чистой кухне теплая

темнота, за окном посвистывает вьюга, шелково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.

— Вот — воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа — невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а — иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне, — слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

— Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами:

— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а Бог терпит. У меня — нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

— Больше пятисот не дам за дочерью!

— Дашь и больше, — уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов — облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бо-

роды, женщина, нахмутив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румянном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

— Красивая ты, Ульяна Ивановна.

— Еще чего скажешь? — сердито и насмешливо спросила она.

— Ничего не скажу.

Он ушел неохотно, тяжело шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

— Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидела дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр. Баймакова быстро сбегала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

— Наталья — домой!

Петр поклонился ей.

— Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

— Она мне нареченная, — напомнил Петр.

— Все едино; у нас свои обычаи, — сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо — будет, либо — нет, — сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, — к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

— Тут гадать не о чем, — сказала Ерданская, — я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, — я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

— То-то что медведем, — согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь, — испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому неведомый и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

— Это значит: верит он силе своей, — объяснила премудрая просвирня.

Но все это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душистым запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

— Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:

— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулками метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

— Что, Олеша? — спрашивал Артамонов. — Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

— За что?

— Не любят.

— Его?

— Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

— Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

— Не надо бы Олеше ходить на бои.

— Это — чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты — молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

— Ну, как твои Артамоновы живут? — спрашивали Баймакову горожане.

— Ничего, хорошо.

— Зимой свинья смирна, — заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого не заметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

«Не ласков будет муженек».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услышала внизу, в сенях, голос дочери:

— Опять на медведя пойдете?

— Собираемся. А что?

— Опасно, Алешу-то задел зверь.

— Сам виноват — не горячись. Значит — думаете обо мне?

— Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма, — подумала мать, улыбаясь и вздохнув. — А он — простак».

Илья Артамонов все настойчивее говорил ей:

— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На Пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишай с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и все было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, — горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову в прямых светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

— Бог в помощь, — неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

— Спаси Бог.

— Это ты сад убрал?

— Я.

— Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем-барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой», — подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке

и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.

— Извольте принять букет.

— Зачем это? — удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

— Вот как, — сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

— Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала:

«Не отец ли научил его?»

— Ну, спасибо за почет, — сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:

— Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула:

— Видно — судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату:

— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступишь от этого дела, дай мне устроить все по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

— Ну, — горделиво замычал Артамонов, — меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

— Тебя здесь не любят.

— Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожав плечами:

— Вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы...

— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

— Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любви...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой: «Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, — в шпунне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам по зелены-им,
По цветам по лазоревым,
Разлилася вода вешняя,
Студенá вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, дэвицу,
Посылают меня пó воду,
Меня босу, необутую,
Ой, нагую, неодетую...

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

— Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

— Сказано: «за мужем — как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается вверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг нее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

— Не порядок это — жить жениху до венца в невестинном доме, надо было выехать Артамоновым...

— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, — ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком,

чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне что? Мне — была бы правда сказана, люди не примут, Господь зачтет.

Барская стоит как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

— Господи — помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:

— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

— Спасибо, милый...

— На кухне Ольгунька Орлова паточкой облилась.

— Да — что ты? Умненькая девчоночка, — вот бы тебе невеста...

— Кто пойдет за меня...

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом, и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

— Обычаи у вас другие, — задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

— Мы же тут коренной народ. Велика Русь!

— И мы — не пристяжные.

— Обычаи у нас древние...

— Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

Ой, свату великому,
Да Илье-то бы Васильевичу,
На ступень ступить — нога сломить,
На другу ступить — другá сломить,
А на третью — голова свернуть.

— Вот так честят! — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну, — Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

— А ты — слушай! — советует Барский и хохочет.

Того мало свату нашему
Да похитчику девичьему...

— Еще мало? — возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо смущенный, постукивая пальцами по столу.

А девицы яростно поют:

С хором бы ты ó борону,
Да с горы бы ты ó каменье,
Чтобы ты нас не обманывал,
Не хвалил бы, не нахваливал
Чужедальние стороны,
Нелюдимые слободы, —
Они горем насеяны
Да слезами поливаны...

— Вот оно к чему! — обиженно вскричал Артамонов. — Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе, Боже, — не в Оку!»

— Ты — погоди, ты еще не знаешь нас, — не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский. — Ну, одали девиц!

— Сколько ж им дать?

— Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

— Широко даешь, бахвалишься!

— Ну и трудно угодить на вас! — тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

— Народ — терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабы пустяки это, а — надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он — приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты — заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

— Всё вылакали; пьют как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

— В деревне — проще, спокойнее жить.

— Ну... Чего проще, коли день проспал...

— Тянут они со свадьбой.

— Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

— Горько! — в двадцатый раз режут красные волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

— Не умеет парень!

— В губы цель!

— Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

— Я те поцелую!

— Горько! — рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов, встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня Бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехид-

ные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а — суд», — думает он и слышит:

— Смотрите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

— Быть еще свадьбе, только — без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томление. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

— Скоро ли конец этому? — шепчет он, Наталья так же отвечает:

— Не знаю.

— Стыдно...

— Да, — слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей — с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатаются в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые,

шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,
Хороводницы, затейницы!
У меня ли густо денежки звенят,
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел;

— Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

— Мы тебе не курята, а — куряне! И — еще кто кого перепляшет! Олеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дрёмовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

— Присловья не знает! — крикнули дрёмовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:

— Олешка — убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам таков же лакей!